



Виктор Петрович Астафьев оказался сегодня в числе тех немногих писателей, у кого свобода слова не отняла дар слова художественного. Кто-то в политической суете потерял свою тему, кто-то вместе с темой потерял не только писательское, но и человеческое лицо, кто-то просто не имел ни

того, ни другого и теперь делит имущество в различных «союзах писателей», беснуется на собраниях, сжигает чучела своих бывших товарищей по советской литературе.

Астафьев работает. Духовная линия его творчества с концом антиисторичной советской эпохи не пресекалась и как будто даже не надломилась. «Последний поклон» и «Царь-рыба» пополнились новыми главами: мир в глазах писателя не перевернулся за прошедшие семь лет, он в силах продолжить свой путь, не перечеркивая старого. На общем катастрофическом фоне особенно заметно, что Астафьев не только не лишился Божьего дара, но что слово его набирает вес и силу трагического звучания. И если то возвращение в Историю, которое мы сегодня переживаем, не является одновременно концом истории русской, книги Астафьева, надо надеяться, будут жить.

Кажется, уже третий год журнал «Новый мир» объявляет о публи-

кации нового романа писателя «Прокляты и убиты». Этот роман замыслен как трилогия об Отечественной войне, в которой В. П. Астафьев участвовал рядовым солдатом. Теперь завершена первая книга романа. По окончании работы над ней Виктор Петрович принял наше приглашение и посетил в Новосибирске «Сибирскую газету». Здесь и состоялась беседа, предлагаемая читателю. Кроме того, мы рады сообщить, что в издательстве «Сибирская газета» начало готовится ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Виктора Астафьева, первое такого рода издание современного русского писателя в нынешней России. Кажется, есть этому только один аналог: парижское издание Собрания Сочинений Александра Солженицына, впрочем, осуществляемое давно и успешно.

С В. П. Астафьевым беседует
соредактор «Северо-Востока» Игорь
Аристов.

может, народном. Вообще выжить при советской власти — уже героизм, а на войне это трижды героизм. Просто вот просуществовать здесь, приспособиться к ней — уже героизм, мы только не знаем ничего о себе, мы слишком устали... Сейчас устануть стал наш, воистину святой, героический народ, износился, или, точнее, его изнасили, ни во что не верит, шевелиться не хочет, работать не хочет...

И. А. До какой, по-Вашему, глубины мы теперь провалимся?.. Год назад в интервью корреспонденту «Сибирской газеты» Вы сказали, что соотношение хороших и плохих людей в нашем обществе 60 на 40. Если сравняется, будет 50 на 50, тогда мы уже пропали. Остается сейчас прежнее соотношение или начинаем уже пропадать?

В. П. Остается. Я просто слежу за всем своим окружением, людьми, какие вокруг меня бывают, что с ними происходит. 60 на 40 все еще остается... У нас ведь еще, несмотря на всю эту свалку, еще очень много хороших женщин, в том числе и молодых.

«УЙМЕМ»

Недавно начали публиковаться немецкие архивы, по депортации из России, Белоруссии, с Украины. Когда фашисты гнали от нас девочек в солдатские, офицерские бардаки, они отбирали красавиц от 16 до 25 лет. Их смотрели на предмет венерических заболеваний, и оказалось, что 85 процентов наших девочек были невинны. И тот немец, который ведал всеми этими делами (он был в чине генерала), где-то оставил свое высказывание: «Нам этот народ никогда не победить». Сейчас, конечно, они нас почти победили, но девочек хороших — по деревням, по провинциальным городам — еще много. И это еще нам поможет в какой-то мере... Главное, чтобы кровь-то совсем не почернела.

И. А. Однако, скорых перемен к лучшему, по-видимому, не предвидится. Не видно просвета ни во власти, ни в народе самом. В чем наша национальная опора, какая государственная идея могла бы воздействовать на народ?

В. П. Слово «идея» в переводе с греческого значит «образ». Это буквальный перевод. Мы просто исказили слова некоторые, придали им другой смысл и путаемся. С политиками у нас прямо беда: тот такой съезд проводит, этот такой. А народ у нас политически безграмотный, абстрагированный — ну, запугают его вконец и все. Политиканства бы поубавить, убрать. И работать. Политики тоже, наверно, думают, что они работают. А их главная задача сейчас — не мешать работать. Я имею в виду работу прямо на производстве, с топором, с лопатой. Все время говорю, что, если не научат ребят работать, если не примет страна, народ того прежнего крестьянского и ремесленного направления, чтобы с детских игр приучать к работе, — тогда не будет никакого народа, никакого государства. И я почти убежден, что скоро его не будет. Оно рассыплется на отдельные узлы и, быть может, только тогда ждать можно возрождения. Я, например, жду возрождения из тайги, из леса, от тех же старообрядцев, от еще сохранившейся деревни. От города ничего ждать невозможно.

И. А. Тем более — от Москвы?

В. П. Тем более от Москвы. Город, которым руководит Попов... какого тут добра от него ждать... Вот старообрядцы — сколько их гнали. А посмотрел я недавно: стоят мужики. У нас в крае пенсию старообрядцы отказались брать: от дьявола, говорят... Представьте себе: еще есть поселки и целые районы в Сибири, где живут верой, трудом. И как будто нас, богоотступников, нету! И крепко стоят. Вот вам и опора.

И. А. С этой же точки зрения я хотел бы вернуться к нашей литературе. И сначала к литературе сибирской...

В. П. Серьезная, хорошая литература стала возникать в Сибири в 20—30 годы: Шишков, Сейфуллина, Иванов, Зазубрин — вот какой сразу получается блок писателей. Это должно было получить развитие, и не случайно сибирскую литературу вырубали под корень. Никого так беспощадно не вырубали, как сибирскую литературу. Есть какие-то силы, которые очень боятся свежих российских сил. Ее вырубали именно как свежую. Потому что воляность, конечно, в прозе этой сибирской, гордость какая-то, могущество.

И. А. Но вот Зазубрин, Сейфуллина — это же красные. Это же чисто красные, Виктор Петрович.

В. П. Но очень хорошие писатели.

И. А. Бывает такое?

В. П. Да, он, Зазубрин, ну какой он красный... Начать с того, что и у Колчака сначала повоевал — уже, значит, какие-то были в душе у него сомнения и противоречия. Но, конечно, он развернулся тут, послужил, покомиссарил... Я думаю, что к старости это сошло бы на нет. Он был очень умный человек и очень патристичный, в хорошем смысле слова, по отношению к России, к русской земле, к Сибири. И комиссарство бы это с него слетело. Его ждали большие разочарования и, следовательно, ждали хорошие книги. Сам кризис его, само противоречие, время, в котором он жил, работал, двигался, дали бы толчок к большой, серьезной литературе. Ведь он же написал

Северо-Восток - Новосибирск - 1992 - № 5/9 - с. 8

И. А. Виктор Петрович, разрешите начать с самого обыденного вопроса. Расскажите о Вашем новом романе, что он собой представляет и почему именно сейчас Вы его пишете.

В. П. С давних пор был у меня замысел написать две книги о войне. Одну я так, кажется, и «прозевал», ушло ее время. Она должна была называться «Рассказы на госпитальной койке». Все, что я слышал и видел, валяясь в госпиталях, хотелось достоверно записать — не написать, не сочинить, именно записать. Думаю, что та книга не понравилась бы нашим медицинским воротилам. Военные медики не допускают до себя никакой критики: они только герои, их надо только хвалить. Между тем они, как и школьные учителя, укрыты в памяти именами двух-трех настоящих медиков на госпиталь: ведь того, кто плохо лечил, как и плохих учителей, вспоминать не хочется, а раненые, урубленные нашей бесчеловечной системой, в которую, увы, входит и наша областная медицина, — вовсе ничего не могут рассказать о том, как их долечили до смерти.

И. А. В полевых условиях...

В. П. Да, и в полевых... Но там-то как раз люди работали, делали, что возможно, что в их силах, иногда и сверх сил. Я о тыловых госпиталях, стационарных. Доходило до того, что они возвращали на фронт после четвертого ранения, а в это время в тылу морды наедали тучи приспособленцев с «белыми билетами», комиссарство разное, целые гарнизоны энкаведешников и вообще всяких разных придурков, которых мы так научились плодить, что работать стало кому-то — сплошные придурки... А после третьего-четвертого ранения, скажу я Вам, человек становится очень уязвим, и вообще это бесчеловечно — посылать людей в таком состоянии в окопы. Боже упаси, я не обвиняю ни хирургов, ни медсестер, ни санитарок. Но воротилы медицинские — те, кто ворочал цифирью, отчетностью, они и до сих пор себе в заслугу ставят, что семьдесят процентов человеческого материала, как они выражаются, возвращали в строй... В таком вот госпитале належишься, наслушаешься... Но «перетаскал» я материал, «сгорел» он во мне, а теперь уже вряд ли напишу: надо быть помоложе, посвежее, да и поозренее...

А попутно был у меня замысел написать большую книгу — как бы анти-чего-то. Все же, сколько я ни ждал, ребята, прекрасные писатели наши, кто писал о войне, они все же в быт солдатский влезли постольку-поскольку. Бои были на первом плане. Но вот запасных полков, резервных, всяких там пересылок, «ям» они мимоходом коснулись. И вот мне хотелось в быт войны залезть и написать военно-бытовой роман. Поскольку я не знаю, как там полководцы нами руководили — Стаднюк знает, у него и Сталин, и Маленков, и архивы под рукой, — а меня б туда не пустили, да и не умею я, откровенно говоря, в архивах работать. И мне хотелось написать поэтапно три как бы части. Первая книга — запасной полк, где готовят на фронт.

И. А. То, что сейчас закончено.

В. П. Да, то, что я закончил сейчас. Потом, значит, «Плацдарм» — книгу, где будут бои, потом книгу о послевоенном времени. Проследить судьбы, как принято говорить, ординарные. То есть обыкновенных людей, ничем особо не выдающихся, исполнивших свой долг кто как умел. Весь роман называется «Прокляты и убиты», а первая книга — «Чертова яма». Название, может быть, неуклюжее, но типичное для запасных полков — в нем и презрение, и ругательство, и ужас... Одной из таких «чертовых ям» был 21-й стрелковый полк. Он стоял под Бердском, в сосняке, сейчас это место водой покрыто — Обским морем. Он пропустил массу людей через себя, просто массу, через него поток шел сибиряков и сторал в Сталинграде, Воронеже, да и где он не сторал. Я не думаю, что это был самый худой полк. По сравнению с тем, что ребята рассказывали, это был даже лучший полк, но все равно это было страшно и ужасно.

И. А. О последней нашей большой войне написано много. Есть, например, целая «полководческая» литература — Стаднюка. Вы назвали — довольно бесчеловечная.

А почти все то, что писалось талантливо и честно, это проза офицеров, проза лейтенантов...

В. П. Ну, не только. Кондратьев — он старший сержант. Быков стал лейтенантом уже потом, после войны, Костя Воробьев тоже потом. А Бондарев и Бакланов, Александр Михайлов, Иван Акулов — какие там лейтенанты, они ваньки взводные. Бондарев и Бакланов — командиры артиллерийского огневого взвода, Михайлов и Акулов командиры рот, первый — саперной, второй — стрелковой. Есть еще писатель, и очень хороший, Юрий Гончаров из Воронежа, есть «взводный ванька» Виктор Некрасов, вот недавно в Барнауле скончался Георгий Егоров, автор потрясающей книги о разведчиках, был на свете сержант, командир самоходного орудия, «гроб с музыкой» называется, — Витя Курочкин, автор книги «На войне как на войне», есть летчик Артем Афиногенов, есть, есть и люди, и книги. Например, «Книга про бойца», т. е. Теркин, есть целая рота хороших поэтов, «отработавших» военную тему, — это Сергей Орлов, Михаил Луконин, Гудзенко, Наровчатов, Друнина, Винокуров и многие другие писатели и книги, которыми можно и нужно гордиться, и важно не повторить их, а продолжить.

И. А. И все же есть ощущение, есть видение литературы об этой войне как литературы по-преимуществу не солдатской. Обыкновенный человек в звании рядового выглядит в ней чаще всего, как частичка воюющей массы. Это может быть оправдано самим масштабом мировой войны. Но для русской литературы это ненадежное оправдание. Наша лучшая военная проза гуманистична, но это, конечно, не христианская проза русского девятнадцатого века. И, на мой взгляд, эта особенность советской военной литературы, о которой Вы сказали, эта ее отстраненность от быта, от повседневной жизни на войне художественно продиктована именно оторванностью от духовного строя русской культуры.

В. П. Ну, кусочками-то быт есть — и у Кости Воробьева, и у Кондратьева Славы, и у Ивана Акулова в романе «Крещение». Есть, но маленько... Свой роман пересказывать нет смысла. Там есть одна глава, как перед отправкой на фронт, зимой, нас бросили в Искитимский район (Новосибирская область. — Ред.) на уборку хлеба. В совхоз имени Ворошилова. Эта глава мой мрачный роман, очень мрачный, может и спасет. Там уже все-таки жить в деревне — клуб, девочки, труд крестьянский. Хороший очень народ, я жил там у стариков, замечательных просто. Кажется, они у меня и получились в романе, эти старики... Все это хоть маленько прикрыло наш быт казарменный, потому что все, что об этом в романе рассказывается, конечно, невыносимо.

И. А. Вы сказали, что замысел романа родился как бы в результате отталкивания от нашей военной прозы...

В. П. Не обязательно от этого. Хотя какой-то дух противоречия во мне постоянно накапливался. Я и первый свой рассказ так написал — начитался и наслушался такой уж ерунды про войну, что должен был сказать: так не было. Но можно на рассказ этак «вспылить», а роман... Как вообще замысел расскажешь? Он тяжело, давно ворочается, ныне, трудно пишется. И хорошо, что я не начал его раньше писать. Опыта бы не хватило, какой-нибудь бы ерунды нагородил. Многие, писавшие о войне просто от неумения, от малоталанливости, скомпрометировали эту тему. Особенно генералы, маршалы, их просто распирает от желания рассказать, как они героически воевали. Да им еще литработчики за сладкий корм героизму и военной бравоности подбавляли, угождая хозяевам-казачикам. А я, по замыслу, таких вещей вроде бы и не касаюсь, как героизм. Героизм настоящий — это прожить на войне. Мне и хотелось показать, наконец, людям: вот, смотрите, вот он, вот где! Смотрите, в каких условиях наша армия, наш народ смогли выжить, воевать и еще победить. А не то что там амбразуру закрывают, глупость какая, под танки с гранатой... Отчаяние, сумасшествие — все это присутствует, конечно, в массовой войне, каких только чудес там не было. Но я говорю о характерном, типичном, быть



«Щенку» наброском, собиравшись из нее делать роман. Представляете, что это был бы за роман, если человек еще в 23-м году имел мужество написать страшный обличительный документ — повесть «Щенка». Я не хочу сказать, что есть какой-то заговор, но где-то какие-то силы действуют, которые целенаправленно вырубают русскую культуру. Вяземский говорил после смерти Лермонтова: «Как метко целят в русскую поэзию, ни разу не промахнутся». Против сибирской литературы просто выступила какая-то орда, совершенно беспощадная... Коммунист Зазубрин — да пусть бы все коммунисты такие были! Ради Бога, — молодые духом, честные, порядочные. Он, Зазубрин, не украл бы ни лапшинки никогда у народа, как, допустим, коммунистический деятель Федирко, за ловлей денег и чинов пожаловавший в Сибирь, — шестнадцать резиденций в крае имел! Жировал, мотавал, подмахивал, как распоследняя потаскушка, город и край задушил дымом, радиацией, химией, чтобы только следом за своим предшественником и шефом Долгих попасть в Кремль

стому обсуждению не поддается. Находясь в трагедии, почти уже разрушаясь, мы вдруг выдаем такой феномен, как деревенская проза. Я разговаривал с русистами в других странах, в том числе с одним американским профессором, он говорит: «Поражаюсь! Это феноменальное явление, нет сейчас цельного, четко определенного направления в литературе ни в одной стране. А у вас вдруг — целое направление... Я понимаю, что это был последний вскрик, плач литераторов, возвращенных деревней, понимаю, никогда не повторится это и группа таких писателей... Она родила полтора десятка книг не просто гражданского звучания, еще и качественно очень высокую прозу создала. Но той деревни больше нет, а что даст новое время, посмотрим, пока мы на распутье».

И. А. Виктор Петрович, я хочу Вас попросить, если Вы позволите этого коснуться, рассказать о Ваших взаимоотношениях с Богом. Что вообще значит для Вас это Слово?

В. П. В детстве я был крещен. Бабушка заставляла меня молиться, ставила рядом с собой на колени. Я,

мне — это что?» — «На все воля Божия. Божий промысел». А потом говорит: «Вот я вижу, что иногда Вы креститесь, кланяетесь, но как бы стесняетесь этого. Что Вы — верите или пытаетесь верить?» Я говорю: «Пытаюсь... Но сраму-то, сраму за мной! Господи помилуй! И жизнь срамная, и мат в Бога, в людей на войне стрелял, и они в меня стреляли, в газетке работал в паршивой, партийной, на радио работал... Срамил в этом органе добро, мешая его со злом, осквернял слово родное. Не достоин я веры в Бога». — «Все мы не достойны, Виктор Петрович, а стремиться-то надо...». Вот такое отношение, сложное очень, с верой, с Богом. Я Господу не надоедаю, все Имя Божие не поминаю, но когда позовет Бог обратиться к Нему, я и обращаюсь. Не обязательно по нужде... А после смерти дочери... Я вот говорил ребятам, когда бесились они на последнем писательском съезде РСФСР: «Не желаю вам зла, никому, но хочу, чтобы каждый из вас хоть маленькую беду пережил...». Больше бы общаться надо с такими, как отец Ириней. С нашими священниками. Есть хорошее в душе человека, еще есть, и храмы восстанавливаются, строятся. У нас вон в зачумленном Норильске, на костях мучеников строится храм, и в «атомной девятке», и в Красноярске у цементного завода, строительство намечается и в Дивногорске, и во многих других местах. В моей родной Овсянке строится библиотека хорошая, и мы решили там зальчик сделать для богослужений, прямо в библиотеке. Нам церковь не вытянуть, так хоть зальчик».

Помолимся, покаемся, уйдем беса в душе, научим детей труду, внушим им, что без Бога и без труда нет будущего, — значит, спасены и дети, и мы, и Россия. Но если и дальше будем идти ворующей, орущей, толкающей, праздно злобной ордой, Господь вовсе от нас отвернется, и на этот раз уж навсегда...

Глава из романа «Прокляты и убиты» будет опубликована в одном из ближайших номеров нашего издания.

БЕСА В ДУШЕ...»

беседа с
В. П.
Астафьевым

и поделает ручкой с мавзолея народу. Опоздал!

И. А. Виктор Петрович, я хочу попросить Вас ответить на один заведомо трудный и, я бы сказал, запрещенный вопрос. Эта «запрещенность», по-видимому, того же свойства, как запрещенность вопроса о роли евреев в русской революции, о чем говорил как-то И. Р. Шафаревич, — хотя и с обратным знаком. Дело идет о высшем в роде бы достижении подсоветской литературы последних десятилетий, о так называемой деревенской прозе, которую сегодня иные критики подчеркнута именуют «русской» в отличие от «русскоязычных» Рыбакова, Аксенова, Войновича и нет им числа. Так вот я хочу спросить, почему в творчестве русских писателей-деревенщиков так ущербно и плоско отразилась главная трагедия русского крестьянства (за всю его обозримую тысячелетнюю историю) — коллективизация? Почему с начала «перестройки» не явились на свет Божий их тайные рукописи, а все то, что начало появляться с 1987 г., оказалось спешно изготовленным и конъюнктурным? Больше того, отдав себе полный отчет в том, что подлинное русское крестьянство было уничтожено коллективизацией и, оглядываясь с сознанием этого на прошлое творчество наших «деревенщиков», не должны ли мы будем существенно пересмотреть масштабы и значение этого творчества?

В. П. Но наряду с этим вышло немало хороших книг о коллективизации. Мы забыли роман Шухова «Ненависть», прозвали роман Ивана Акулова «Касьян Остудный». Это лучший роман о коллективизации. К сожалению, Акулов не написал продолжение. Они трое работали параллельно: Василий Белов над «Канунами», Борис Можасов над своей книгой «Мужики и бабы», Акулов над своей. Не стовариваясь, конечно. Описывали один период — 1928—29 гг. Теперь Белов может продолжать дальше и продолжает, Иван уже умер и, к сожалению, не продолжает. Есть «Матренин двор», есть книги Солоухина, Евгения Носова, Виктора Лихоносова, Распутина, Шукшина, Абрамова и других о русском крестьянстве, достойные книги, но ведь не они сделали «сенсацией», а те, что про вождей, про культ, про лагеря, про проституток и наркоманов. Таков уж наш «лучший в мире читатель», любит, чтоб ему на вилке поднесли духовную пищу, навязали, чтоб «жареное» было. Вот вышел замечательный роман Леонида Лиходеева «Семейная хроника» — ни наца критика, ни просвещенная публика не только не читали, но и не слышали об этом романе, они жуют модное. Вспели же, кричали о романе Гроссмана «Жизнь и судьба», возведя его до высот «Войны и мира». Прошло четыре года, никто про тот роман уже не поминает, но уж нашумелись всталась. И в это же время начала печататься «Семейная хроника» — о ней ни слова. Потому что еврей Лиходеев поднялся на такой уровень мышления, что ему все равно, что ты еврей, чуваши, русский: какой ты есть, таким ты и являешься. А Гроссман весь искокетничался перед евреями, все международное еврейство за него и ухватилось — вот наше знамя. Я тогда удивлялся: роман «сырой», недоконченный, тягучий, какая там «Война и мир»; а мне говорят: не дорос до понимания такой высокой литературы, еще в нос сразу проверенное нашатырное средство — швинист... Замученная, замордованная цензурой, вожжами, наша литература может в общем-то без особого стыда смотреть вокруг, в лучших своих проявлениях она осталась достойна той литературы, из которой вышла и выросла. А что касася мусора, сорняков, то и на Западе, и на Востоке, и за океаном его выросло и произведено на свет не меньше, чем у нас, но что-то сытая, умытая, совершенно свободная Скандинавия давно не являет миру Грига, Ибсена, Сибелиуса. Вот Вам противоречия нашего времени.

И. А. Но как смотреть в наш собственный XIX век?

В. П. А ведь между прочим и Англия тоже не может достичь своей литературы восемнадцатого века. И Испания семнадцатого с Сервантесом. И Италия после Данте, Бокаччио — не очень... Литература, которая дала «Тихий дон», Платонова, Булгакова, Солженицына, Твардовского, уже может считаться великой литературой. Здесь есть сложность, которая вычислению и про-

конечно, крученный-верченый был. Ну, она давала мне по затылку, если я вертелся, заставляла молиться. Потом, когда я в школу пошел, подступила эта бесовская пропаганда, и я тоже бабушке говорил, что Бога нет. Она мне: «А кто есть?»... Ну, кто есть, нам сейчас как-то особенно выпукло видно, и к чему мы пришли — тоже явственно воспоследовало... Когда я был на острове Патмос на 900-летию Патмского монастыря, мне помогало во всех моих делах отец Ириней, прекрасно образованный человек, из Сербской Духовной Академии. Когда мы стали прощаться, я говорю ему: «Отец Ириней, вот то, что Вы были со мной, показывали, объясняли, помогали